



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК



ПУТИ  
РАЗВИТИЯ  
РУССКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ  
XVIII века



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

# XVIII ВЕК



СБОРНИК

27

Пути развития  
русской литературы  
XVIII века



Санкт-Петербург  
«Наука»  
2013

К. Ю. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ

**ДРУЖЕСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ПИСЬМО:  
СПЕЦИФИКА, ИСТОКИ\***

Как известно, легитимация словосочетания «дружеское письмо» в качестве литературоведческого термина была начата Ю. Н. Тыняновым и Г. О. Винокуром в 1920-е гг. и получила наиболее полное обоснование в статье Н. Л. Степанова «Дружеская переписка 20-х годов», опубликованной в 1926 г.<sup>1</sup> В этой работе, важность которой, учитывая данные ею импульсы, трудно переоценить, Степанов со всей определенностью писал о дружеском письме как о литературном жанре,<sup>2</sup> хотя с куда большей частотностью использовал понятие «литературный факт», почерпнутое у Тынянова. Варьируя идеи своего учителя, Степанов отмечал, что ряд явлений за литературные факты разными эпохами то признается, то не признается, что «письма писателей начала XIX века были фактом литературы», что видно «как из отношения к ним современников, так и из всей литературной обстановки той эпохи», что дружеские письма были порождены «борьбой за новую

---

\* Исследование проведено в рамках проекта РГНФ «Литературная деятельность Н. А. Львова» (руководитель К. Ю. Лаппо-Данилевский), № 06-04-00200а, 2006—2008 гг.

<sup>1</sup> *Степанов Н. Л.* Дружеское письмо начала XIX в. // Русская проза / Под ред. Б. М. Эйхенбаума, Ю. Н. Тынянова. Л., 1926. С. 74—101. Здесь и далее ссылки даются на несколько расширенную версию статьи в кн.: *Степанов Н. Л.* Поэты и прозаики. М., 1966. С. 66—90. Позднее, во второй половине 1960-х гг., Р. М. Лазарчук впервые отметила, что под концепцию «дружеского письма» подпадает также ряд явлений эпистолярной практики XVIII в. (см. об этом подробнее ниже).

<sup>2</sup> Об этом можно заключить хотя бы по следующему немаловажному пассажию: «Среди литературного круга письма были распространены не меньше, чем прочие жанры литературы, но благодаря своему „автобиографизму“ и интимному бытовому материалу они не попадали в печать» (Там же. С. 67).

прозаическую речь», что стали «в результате работы „младших карамзинистов“ над малыми жанрами — фактом литературы» и проч.<sup>3</sup>

Столь важное место тыняновского термина в рассуждениях Степанова побуждает уделить ему некоторое внимание, прежде чем будет очерчена система аргументации, позволяющая исследователю зачислить дружеское письмо начала XIX в. в разряд художественных произведений.<sup>4</sup> Прочитую поэтому один из ключевых, хрестоматийно известных пассажей в статье Ю. Н. Тынянова «Литературный факт», наиболее полно поясняющий заглавный термин:

«Определения литературы, оперирующие с ее „основными“ чертами, наталкиваются на живой *литературный факт*. Тогда как твердое *определение литературы* делается все труднее, любой современник укажет вам пальцем, что такое *литературный факт*. Он скажет, что то-то к литературе не относится, является фактом быта или личной жизни поэта, а то-то, напротив, является именно литературным фактом. Стареющий современник, переживший одну-две, а то и больше литературные революции, заметит, что в его время такое-то явление не было литературным фактом, а теперь стало, и наоборот. Журналы, альманахи существовали и до нашего времени, но только в наше время они сознаются своеобразным „литературным произведением“, „литературным фактом“».<sup>5</sup>

Как нетрудно заметить, понятие «литературный факт» имплицитно оценивает, а его выявление из массива фактов «не-» или «внелитературных» должно происходить не на основании анализа сущности и специфики, но в результате оценки этого факта извне. При этом постулируется, что «любой современник» будто бы способен мгновенно провести грань между фактами литературными и нелитературными, что со всей очевидностью делало для Тынянова излишним более детальные дефиниции. Говоря о постоянном перемещении неких «фактов» из центра на периферию и обратно, о ломке границ, об обретении «фактами» статуса «литературности» и о его утрате, Тынянов считает возможным понимать под ними и собственно приемы (заумь), и малые игровые (шарада, логогриф), и обширные повествовательные жанры (повесть, роман), и виды печатных изданий (журналы, альманахи).

---

<sup>3</sup> Там же. С. 66—67.

<sup>4</sup> Здесь и далее, чтобы подчеркнуть именно этот аспект, речь будет вестись о «дружеском литературном письме».

<sup>5</sup> Тынянов Ю. Литературный факт // Архаисты и новаторы. Л., 1929. С. 8—9.

О том, сколь малоубедительно и малопродуктивно утверждение о всеобщей очевидности чего бы то ни было, распространяться не приходится. Вряд ли поэтому можно усомниться, что Тынянов, привлекая столь зыбкую инстанцию, как «любой современник», в первую очередь выражал убежденность в способности своей и своих ближайших единомышленников говорить от лица «любого современника» и присваивать определенным явлениям ретроспективно статус «литературного факта». В сущности, таковым оказывается то, что с точки зрения Тынянова инновативно, открывает новые возможности перед литературой, способствует преодолению клише и эпигонства. Все же вряд ли этого достаточно для того, чтобы причислить «литературные факты» к художественной литературе, возвести некую их группу в разряд «литературного жанра».

Что же позволяет Н. Л. Степанову, ученику и последователю Ю. Н. Тынянова, видеть в дружеских письмах К. Н. Батюшкова, П. А. Вяземского, А. С. Пушкина, А. И. Тургенева и других арзамасцев<sup>6</sup> и литературный факт, и литературный жанр? Попробуем, по возможности систематично, очертить его аргументацию. Первая группа доводов касается *внешних, экстратекстуальных* аспектов: так, исследователь подчеркивал, что имеются «многочисленные свидетельства тому, что письма мастеров этого жанра ходили по рукам и читались в литературном кругу не меньше, чем остальные литературные произведения», но в силу их «автобиографизма» и интимного бытового материала не попадали в печать; Степанов отмечал также тщательную работу их авторов над письмами, бережное отношение получателей к ним, сознание их высоких художественных достоинств.<sup>7</sup>

Погружаясь в интересующие его тексты, Степанов так определяет их *differentia specifica*:

«Основные черты дружеского письма: в его ориентации на устную речь, пародийное использование поэтических и традиционно „высоких“ стилистических штампов, мозаичность конструкции, вбирающей в себя разнообразные тематические и стилистические пласты, чередование прозы и стихов и т. п.»<sup>8</sup>

Эти положения касаются, если попытаться несколько систематизировать их, — тематики, общей композиции, фонетического, лексического, синтаксического и семантического уровней языко-

---

<sup>6</sup> Их прямым и единственным предшественником в русской литературе объявлялся Карамзин, литературность писем которого «несомненна, когда им вводятся в письма разговорные обороты и стихи».

<sup>7</sup> Степанов Н. Л. Поэты и прозаики. С. 66—67.

<sup>8</sup> Там же. С. 73.

вого построения текста повествующей инстанции и ее адресата, вписанных в текст. Как нельзя лучше это видно из следующих цитат, развивающих положения о том, что же свойственно дружескому письму: «неканонизованность, свобода речевого выражения, возможность смешения устных и письменных языковых форм, разнообразие тематических переходов и обращенность письма к определенному, чаще всего близкому, собеседнику-корреспонденту»; «амальгама различных литературных элементов: пародий, стихов, острот, — которые в нем заключены»; «постоянное ощущение личности автора, обилие „домашних“ намеков», «пестрота тем», мозаичность как композиционный принцип письма; комическое обыгрывание метафор, вставные анекдоты, каламбуры; отказ от формул традиционного литературного этикета, крайняя широта использования лексики, и, как их следствие: макаронизм, спадание в вульгарность, обилие неологизмов и проч.<sup>9</sup>

Общие выводы исследователя все же не лишены некоторой двойственности, что явствует из сделанных им оговорок:

«Конечно, письма писателей не являлись литературными произведениями в том смысле, как повести и романы. Они писались не из расчета на посторонних читателей, лишены были художественной выдумки и прежде всего служили для выражения тех фактов, дел, мыслей и переживаний писателя, которые он желал высказать своему корреспонденту».<sup>10</sup>

Иначе говоря, Степанову было важным в первую очередь показать, исходя из тыняновской теории литературной эволюции, что дружеское письмо Пушкинской эпохи было литературным фактом; что же касается его принадлежности к художественной литературе, то она имплицировалась ее формалистским пониманием, в силу которого усложненность, повышенный риторизм языковой фактуры являлся одним из главных аргументов в пользу причисления к ней того или иного произведения. Весьма характерно поэтому, что, объявляя дружеское письмо «фактом литературы», исследователь видел основную к тому причину в «том процессе развития литературного языка, который выдвинул письмо для решения определенных стилистических проблем, как лабораторию для языковых экспериментов».<sup>11</sup> На обманчивость (но в то же время и на не совсем очевидную для меня полезность)

---

<sup>9</sup> Там же. С. 70, 73, 76—77.

<sup>10</sup> Там же. С. 68.

<sup>11</sup> Там же. Последнее соображение, на мой взгляд, автоматически приводит к принижению значения многих дружеских писем именно как произведений определенного литературного жанра, способных достигать лишь одним им свойственных художественных эффектов.

данной аналогии с «лабораторией», нашедшей широкое применение в работах В. А. Малаховского (1937, 1938), И. С. Ильинской (1946), И. М. Семенко (1962), Г. М. Фридлиндера (1967) и др.,<sup>12</sup> справедливо указал в своей монографии «Дружеское письмо как литературный жанр в Пушкинскую эпоху» Уильям Миллз Тодд III.<sup>13</sup> Все же одна из основных посылок исследователя о том, что художественная литература — «это язык в его эстетической функции», которую заново определяет каждая эпоха, вряд ли может ныне серьезно обсуждаться.<sup>14</sup> К несомненным достоинствам этой книги следует отнести попытку обозреть арзамасскую переписку в более широком европейском контексте.

В двухтомном издании, содержащем, по определению В. Э. Вацура, одного из его составителей, «документальную историю „Арзамаса“», закономерным образом оказалось воспроизведено немало дружеских писем, чьей стилистике уделено несколько страниц во введении. Имен Тынянова и Степанова Вацура не упоминает, термина «дружеское письмо» не употребляет. Все же вывод исследователя не предполагает разночтений: «Что же касается письма, то под пером арзамасцев оно обретает черты особого литературного жанра».<sup>15</sup>

Но вернемся к концепции Степанова. Думаю, из всего сказанного выше очевидна прежде всего малая пригодность формалистской концепции художественной литературы для решения центрального вопроса, занимающего нас, — а именно: отношение «дружеского письма» к основному массиву текстов, безоговорочно зачисляемых в разряд изящной словесности. Так, например, уже неоднократно справедливо указывалось, что рекламные тексты, демонстрирующие порой крайнюю усложненность и на-

---

<sup>12</sup> Из позднейших исследований по теме укажем здесь на книгу Я. Л. Левкович «Автобиографическая проза и письма Пушкина» (Л., 1988) и диссертацию Г. Б. Омаровой «Диалогичность эпистолярной поэтики А. С. Пушкина» (Омск, 2004).

<sup>13</sup> Todd III W. M. Дружеское письмо как литературный жанр в Пушкинскую эпоху. СПб., 1994. С. 16.

<sup>14</sup> Другое важнейшее для него понятие «жанра» У. М. Тодд III определяет, опираясь на Р. Уэллека и О. Уоррена, как «форму, отличную от других форм, чей материал организован так, чтобы в типологическом отношении удовлетворять ожидания читателей» (Там же. С. 9). Попутно отмечу досадную неточность при переводе и в трактовке переводчиком книги Тодда одного из центральных понятий «новой критики» — «intentional fallacy» — как «умышленной погрешности». Куда более удачным следует признать вариант «заблуждение в отношении намерения», предложенный в словаре: Современное зарубежное литературоведение: Концепции, школы, термины: Энциклопедический справочник. М., 1996. С. 48.

<sup>15</sup> «Арзамас»: Сборник. В 2 кн. / Под общ. ред. В. Э. Вацура, А. Л. Осповата. М., 1994. Кн. 1. С. 23.

сыщенные элементами языковой игры, все же никоим образом нельзя причислить к художественным текстам. Попробую сформулировать несколько исходных посылок, которыми, на мой взгляд, целесообразно руководствоваться при рассмотрении «дружеского письма» как феномена.

Его сущность, думается, лучше всего постигается в соотносительности с собственно «письмом» — одной из основных и древнейших форм человеческой коммуникации, начальная история которого документирована еще ближневосточными глиняными табличками середины III тысячелетия до н. э.; а в наши дни оно все в большей мере использует электронные носители. Несомненно, что письма (независимо от того, курсировали ли они в частной или в официальной сфере, а также независимо от их интенций<sup>16</sup>) на всем протяжении истории своего существования мыслились и сочинялись прежде всего как тексты фактуальные, с установкой на достоверность сообщаемого. Прагматика письма побуждает рассматривать его уже в античности как речь в письменной форме, обращенную к отсутствующему, как реплику в дискретном диалоге (ср. высказывания в этом духе Артемона, издателя писем Аристотеля), и ведет к его рассмотрению как риторической проблемы у Псевдо-Деметрия и Юлия Виктора.<sup>17</sup>

Основы эпистолярного этикета, почерпнутые у античных предшественников, средневековые излагает уже как *ars dictaminis*, полагая тем самым начало обильной традиции письмовников, призванных «отладить» преимущественно деловую коммуникацию. Обретение в эпоху Ренессанса обширного эпистолярного наследия Цицерона (до нас дошло в общей сложности около 900 его писем) способствует возникновению латинской переписки гуманистов, в которой обсуждению подвергается широчайший круг вопросов — философских, политических, литературных и др.<sup>18</sup> Этот гуманистический культ писем дает толчок эпистолярной культуре во всей Европе, образованная элита которой с те-

---

<sup>16</sup> Отмечу, что именно различные авторские интенции положены в основу классификации писем Карлом Эрмертом, позволяющей наиболее рельефно представить специфику разного рода писем: 1) информационная; 2) оценочная; 3) побудительная; 4) направленная на поддержание контакта (*Ermert K. Briefsorten. Untersuchungen zur Theorie und Empirie der Textklassifikation. Tübingen, 1979. S. 68—75, 95—102.*)

<sup>17</sup> *Cugusi P. Evoluzione e forme dell'epistolografia latina nella tarda repubblica e nei primi due secoli dell'impero. Con cenni sull'epistolografia preciceroniana. Roma, 1983. P. 27—41, 43—72; Stowers S. K. Letter and Writing in Greco-Roman Antiquity. Philadelphia, 1986. P. 186 et passim.*

<sup>18</sup> *Smidt P. L. Die Rezeption des römischen Freundschaftsbriefes (Cicero—Plinius) im frühen Humanismus (Petrarca—Coluccio Salutati) // Der Brief im Zeitalter der Renaissance / Hrsg. F. J. Worstbrock. Weinheim, 1983. S. 25—59.*



чением времени предпочитает интернациональной латыни либо французский, либо свои национальные языки. XVIII столетие по праву называют «веком писем» — тому причиной и расцвет частной корреспонденции, и обилие самых разнообразных сочинений в форме писем, и, не в последнюю очередь, исключительные художественные достижения, связанные с крайне популярной формой эпистолярного романа (достаточно вспомнить столь несхожие между собой создания Мариво, Монтескье, Мари де Севинье, Шодерло де Лакло, Ричардсона, Руссо, Гете, Виланда, Гельдерлина и др.).

Возвращаясь к проблеме «дружеского письма», хочется подчеркнуть, что подход, намеченный Тыняновым и Степановым, означает его трактовку как «письма литературного», именно в смысле принадлежности его к художественной литературе, а не в связи с литературностью темы, хотя и не без определенных оговорок. Разделяя мнение о плодотворности подобного подхода, следует все же признать, что как раз критерии, в соответствии с которыми эта принадлежность должна была бы быть проанализирована, не подверглись необходимой дифференциации и обсуждению. Именно с этого пункта хотелось бы начать анализ «дружеского письма».

Если русские формалисты понимали художественность литературы прежде всего как реализацию поэтической функции (то есть как замкнутость текста на себе, как манифестацию его формальной усложненности),<sup>19</sup> то большинство авторитетных литературоведов второй половины XX в. видят ее в фикциональном характере определенной категории текстов (О. Уоррен, Р. Уэллек, Ц. Тодоров, Ж. Женнет и др.).<sup>20</sup> Дружеское литературное письмо необходимо, на мой взгляд, рассматривать поэтому как некую

---

<sup>19</sup> При этом по сей день дает себя знать многовековая традиция дефиниций понятия «художественная литература» через понятие мастерства, умелой «деланности», через наличие в ней особых красот. Весьма показательна в этом отношении этимология слова «художественный», восходящего в конечном счете к готскому «handags» («ловкий») от «handus» («рука»). Еще большей степени путаницы способствует традиционное употребление слова «поэзия» в смысле «художественная литература»; здесь и далее под поэзией будут пониматься лишь стихотворные произведения в их противопоставленности прозе. Сама же по себе стихотворная форма, как известно, отнюдь не является признаком принадлежности произведения к художественной литературе, чему наилучшее свидетельство — существование таких жанров, как стихотворные трактаты (поэтологические, натурфилософские и проч.).

<sup>20</sup> Уоррен О., Уэллек Р. Теория литературы. М., 1978. С. 43—44; Тодоров Ц. Понятие литературы // Семиотика / Сост., вступ. статья, общ. ред. Ю. С. Степанова. М., 1983. С. 357—358; Женнет Ж. Фигуры: Работы по поэтике. М., 1998. Т. 1/2. С. 342—343, 359—363 et passim.

производную собственно письма, то есть текста, в основе своей фактуального, но подвергшегося фикционализации. Под данным понятием, являющимся во многом ключевым для дальнейших рассуждений, имеется в виду динамический процесс обретения текстом нехудожественным черт литературности, вплоть до перехода его в иное качество. Именно некая изначальная двойственная сущность письма, о которой столь охотно говорилось многими в связи с эпистолярной формой, избираемой для самого разного рода сочинений, проявляется особенно явно в том, что на протяжении одного письма степень его фактуальности будет различной.

Если фактуальность и фикциональность относятся по преимуществу к качеству сообщаемого — и связаны потому с коммуникативной (референтивной) функцией, — то уже априорное рассмотрение «количественного» соотношения функций между собой приводит к мысли о том, что в дружеском письме по сравнению, например, с деловым должны быть усилены функции экспрессивная, фатическая и поэтическая в ущерб коммуникативной, апеллятивной и метаязыковой.<sup>21</sup> И действительно, дружеское письмо оказывается, с одной стороны, в большой степени эмоционально заряженным, нацеленным на то, чтобы поверить и поддержать контакт адресанта с адресатом, умышленно усложненным на основных текстообразующих уровнях (фонологии, морфологии, синтаксиса, семантики и графемике). В то же время собственно сообщаемое багателлизируется и отрывается от нужд практической жизни, оно обычно не должно побуждать к какому-либо конкретному действию или решать металингвистические задачи.

С фикционализацией дружеских писем напрямую связан феномен двойной или «*сообщенной коммуникации*», определенный Дитером Яником как неотъемлемое свойство художественных текстов (феномен, известный давно, но в других исследованиях не столь четко очерченный).<sup>22</sup> Его сущность видят в том, что в художественные тексты вписаны «внутренние» инстанции повествователя и читателя, не тождественные «внешним» адресанту и адресату. Если у нас нет оснований сомневаться в авторстве сообщаемого в фактуальном тексте (это адресант), в отношении текста фикционального всегда необходимы известные оговорки — повествователь либо служит, либо лишь до известной сте-

---

<sup>21</sup> Здесь и далее в качестве одного из основных исходных пунктов размышлений избрана статья Р. Якобсона «Поэтика и лингвистика» (1960), в которой была детализирована трехчастная модель К. Бюлера и развито учение о шести функциях речевой коммуникации.

<sup>22</sup> Janik D. *Literatursemiotik als Methode : Die Kommunikationsstruktur des Erzählwerks und der Zeichenwert literarischer Strukturen*. Tübingen, 1985. S. 9—74.

пени служит, либо же вовсе не служит рупором идей автора. Сама же нетождественность автора и повествователя в литературных произведениях при этом, как известно, сомнению не подвергается. Дело, однако, осложняется тем, что читатель сплошь и рядом имеет дело с автобиографическими повествователями, на первый взгляд идентичными реальному автору, а в действительности лишь являющимися его масками (случай типичнейший как раз для дружеских писем).

Заявленное выше понимание художественной литературы как фикциональной, предполагающей многозначность и стремящейся к ней, а также реализующей систему двойной коммуникации, уже указывает возможные направления «литературизации» фактуальных текстов — то есть их фикционализацию, как общую, через обнажение фикциональной сущности сообщаемого, так и частную, посредством введения вставных фикциональных эпизодов;<sup>23</sup> через разрушение однозначности сообщаемого; через развитие инстанций повествователя и имплицитного читателя в фактуальных текстах. Динамизм и напряженность дружеского литературного письма как жанра, происходящие в нем колебания от фактуального к фикциональному наилучшим образом объясняют его гетерогенность, отражающуюся в композиционных и стилистических особенностях, отмеченных в работах предшественников, — мозаичность, полистилизм, пренебрежение эпистолярным этикетом и проч.

Таким образом, дружеское литературное письмо — это письмо, переводимое в разряд художественных текстов за счет оттеснения на периферию референциально-коммуникативной составляющей в результате его многообразной «литературизации», реализующейся прежде всего в его «дружеской поэтике». Дружеское литературное письмо поэтому следует признать гибридным жанром, оказывающимся на границе фактуального и фикционального миров, соединяющим в себе черты и собственно письма, и послания.<sup>24</sup> Немаловажно отметить наряду с данными сущностными особенностями, что дружеское литературное письмо сразу нашло свою нишу в системе прагматической коммуникации, что обладало собственной, хотя и ограниченной аудиторией, ошущавшей его именно как эстетический феномен.

---

<sup>23</sup> Думается, этот второй род фикционализации, сколь он ни важен, все же не в такой степени является характерной чертой дружеского литературного письма, как первый.

<sup>24</sup> Именно эта «устремленность» дружеского литературного письма к посланию как жанру просматривается в ряде писем Н. А. Львова, в которых стихотворные пассажи по объему превосходят прозаические, как например в его письме к П. В. Лопухину от 18 июля 1801 г. (см. подробнее ниже).

Дружеские письма начала XIX в., к которым преимущественно обращались исследователи, не отдавались авторами в печать. В то же время их получатели неоднократно отмечали высокие художественные достоинства эпистолярных текстов этого рода, а также то, что они читались обычно не только адресатом, а целым кругом лиц.<sup>25</sup> Поэтому здесь имеет смысл вкратце коснуться проблемы конвенционности литературы, то есть того незримого договора, который заключает (или не заключает) читатель с обособившимся представителем реального автора — литературным произведением, соглашаясь или не соглашаясь считать его таковым. Конвенционность исторически изменчива, как подвержены изменениям и представления о литературности, практическим выражением которых она является. Очевидно, что дружеские письма не соответствовали господствующим представлениям эпохи о литературности; при этом их необыденный, неделовой характер живо ощущался в определенной среде. Не будет преувеличением поэтому утверждение о том, что взгляд на дружеское письмо как на составляющую художественной литературы был укоренен в сознании ряда литераторов начала XIX в., но лишь в веке XX получил научное осмысление.

Если первая часть данной работы ставила своей целью прояснить теоретические соображения при рассмотрении феномена дружеских литературных писем и наметить парадигму их анализа, то ее вторая часть преследует, скорее, историко-литературные задачи, а именно обратить внимание на тот факт, что дружеское письмо рассмотренного выше типа, связываемое обычно с Пушкинской эпохой, в действительности существовало в России намного ранее и что его формирование в качестве определенного жанра связано с львовско-державинским кружком и в первую очередь с личностью Н. А. Львова.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ср. свидетельство А. И. Тургенева в письме Вяземскому от 14 мая 1819 г. о том, что последнее письмо Вяземского читалось Жуковским и так ему понравилось, что он хотел «отнять» его у адресата (Остафьевский архив. СПб., 1889. Т. 1. С. 232), а также другие примеры коллективного восприятия писем, приводимые Степановым (*Степанов Н. Л. Поэты и прозаики. С. 67 et passim*).

<sup>26</sup> Нельзя не отметить значительный интерес к русскому эпистолярному наследию XVIII столетия за последние тридцать лет, а также то, что проблема дружеского литературного письма при этом затрагивалась лишь в единичных случаях. Так, в основу одного из крупнейших научно подготовленных эпистолярных корпусов XVIII в. положено понимание письма как «бытового документа, фиксирующего общение их авторов с различными людьми» (*Письма русских писателей XVIII в. Л., 1980. С. 15*). Нельзя обойти вниманием также издание: *Дружинин П. А. Неизвестные письма русских писателей князя А. Б. Куракину (1752–1818)*. М., 2002. Укажем и следующие общие работы: *Бухаркин П. Е. Письма писателей XVIII века и развитие прозы (1740—1780-е*

Но сначала хотелось бы коснуться истории эпистолярного этикета в России, учет которого существен для дальнейшего изложения. Е. Е. Дмитриева, специально изучившая историю вопроса, отмечает, что традиция древнерусских письмовников в XVIII в. оказалась прерванной (известное значение она имела лишь для старообрядцев); в первой половине столетия законодатели русского эпистолярного этикета находились преимущественно под немецким влиянием, а затем под французским. Особенно важную роль в этом процессе сыграло «Наставление, как сочинять и писать всякие письма к разным особам, с приобщением примеров из разных авторов» (М., 1765; переизд.: 1769, 1773, 1783, 1786), популяризовавшее основные положения эпистолярной теории Ш. Баттё. «Наставление» и другие аналогичные сочинения (по большей части компилятивные и переводные) во второй половине XVIII в., по мнению исследовательницы, выполнили «роль учебно-стилистическую по преимуществу и приобщили русскую публику к европейскому стилю поведения „благородного человека“». К началу XIX в. в России можно констатировать уже широко распространенное хорошее знание и соблюдение церемониала общих частей письма, что создает предпосылки для игры с этикетом, критического и шутивного отталкивания от него.<sup>27</sup>

Укажу вкратце на наиболее значительные эпистолярные массивы, оставленные русскими писателями XVIII столетия. Так, в 1784 г. в первой части «Полного собрания сочинений» Ломоносова были впервые напечатаны его письма И. И. Шувалову 1751—1757 гг. (в общей сложности 16).<sup>28</sup> В них — наряду с чисто биографическими и научными — нередко затрагиваются темы литературные; при этом референтивная функция неизменно доминирует. Несколько раз Ломоносов приводит в письмах свои стихи, но цитирует их именно как некую внеположную данность, которую следует сообщить, а не пишет их специально для письма,

---

годы). Автореф. ... канд. филол. наук. Л., 1982; *Buhks N.* The Role of the Everyday Letter in the Development of Russian Sentimental Prose of the Late Eighteenth Century // *The Modern Language Review*. 1985. Vol. 80. Part 4 (October). P. 884—889; *Марасинова Е. Н.* Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века : (По материалам переписки). М., 1999; в том числе специальный номер журнала «*La revue russe*» (2009. № 32: *L'épistolaire en Russie*).

<sup>27</sup> См. подробнее: *Дмитриева Е. Е.* Русские письмовники середины XVIII — первой трети XIX в. и эволюция русского эпистолярного этикета // *Известия АН СССР. Сер. лит. и яз.* 1986. Т. 45. № 6. С. 543—552.

<sup>28</sup> *Ломоносов М. В.* Письма к его высокопревосходительству Ивану Ивановичу Шувалову, которые никогда не были еще напечатаны // *Полное собрание сочинений Михайла Васильевича Ломоносова, с приобщением жизни сочинителя и с прибавлением многих его нигде еще не напечатанных творений.* СПб., 1784. Ч. 1. С. 319—345.

делая их неотъемлемой его частью. При всей «дружественности» этот эпистолярный невозможно назвать «дружеским», ибо всюду чувствуется дистанция, отделяющая поэта от его вельможного покровителя. Столь же далеко от очерченного выше понятия дружеского литературного письма эпистолярное наследие Д. И. Фонвизина, обращенное в своей значительной части к родным и призванное сообщить им впечатления от его второй, третьей и четвертой зарубежных поездок.<sup>29</sup>

По количеству сочиненных писем пальма первенства в России XVIII столетия должна быть, бесспорно, отдана М. Н. Муравьеву. Из этого обширного корпуса в настоящий момент издана лишь одна пространная подборка: 67 писем 1777—1778 гг., обращенных к отцу и сестре. Как опубликованная, так и неопубликованная часть муравьевского эпистолярия неизменно привлекает внимание исследователей его творчества — в первую очередь как биографическое свидетельство и как материал для установления истоков отдельных мотивов в его художественных произведениях. Стремление Р. М. Лазарчук рассматривать письма Муравьева в свете идей Тынянова и Степанова вызвало справедливые возражения Л. Росси: «Как видим, здесь речь идет прежде всего о принципах восприятия и воспроизведения действительности, о „веяньях“, охватывающих в равной мере эпистолярную и художественную прозу, но при этом жанр письма в рассуждении исследователя [Р. М. Лазарчук. — *К. Л.-Д.*] утрачивает свою специфику. Нам кажется, что Ю. Тынянов, наоборот, рассматривал письмо как определенный жанр, со своими специфическими „исконными“ конструктивными принципами, которое в определенные эпохи становятся актуальными для литературного развития, а другие не играют в нем никакой роли».<sup>30</sup> Уделив большое внимание теоретическим дебатам, Л. Росси видит свою задачу все же в ином, а именно в том, чтобы «проверить, на самом ли деле, а если да, то в какой мере, „приемы“ и „принципы конструкции“, примененные писателем в своих художественных произведениях, восходят к его семейной и дружеской переписке».<sup>31</sup>

Обратимся наконец к эпистолярному наследию Н. А. Львова. Одно из его писем к П. Л. Вельяминову от 17 августа 1791 г. было напечатано в 1791 г. в карамзинском «Московском журна-

---

<sup>29</sup> Фонвизин Д. И. Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1959. Т. 2. С. 412—453, 500—553, 559—562.

<sup>30</sup> Росси Л. К вопросу о соотношении эпистолярной и художественной прозы в России в последней четверти XVIII в. // *Slavica Tergestina (Trieste)*. 1994. Vol. 2: *Studia russica*. P. 93.

<sup>31</sup> *Ibid.* P. 93.

ле».<sup>32</sup> В 1886 г. его переписка с Державиным была опубликована Гротом в «Сочинениях» последнего,<sup>33</sup> в 1886 г. в томе XXXII «Архива кн. Воронцова» было напечатано 13 писем Львова А. Р. и С. Р. Воронцовым. Остальные письма (в том числе обращенные к жене, В. В. Капнисту, а также деловые) были опубликованы уже в XX в. На то, что в этом обширном массиве имеется ряд писем, для которых релевантна концепция «дружеского письма», было впервые отмечено в работах Р. М. Лазарчук. Исследовательница рассматривала письма Львова вкупе с его посланиями и полагала, что раскрепощенный стиль и тех и других формировался как реакция на литературу русского сентиментализма, как результат внутреннего отторжения от нее.<sup>34</sup> Этот основной тезис исследовательницы вряд ли может быть принят хотя бы потому, что эпистолярная манера Львова складывается уже в 1780-е гг., то есть до выхода Карамзина на литературную арену.<sup>35</sup>

Одним из наиболее ранних, подпадающих под очерченное выше понятие дружеского литературного, следует признать письмо Львова к Державину от 13 августа 1786 г., посланное из Москвы. В то время Львов был увлечен идеей добычи бурого угля в России; несколько позднее поэты выступили в качестве компаньонов и на свой страх и риск занялись разработкой угольного месторождения в Боровичах, о котором Львов восторженно

---

<sup>32</sup> [Львов Н. А.]. Письмо к П. Л. В<ельяминову> из Арпачева от 17 августа 1791 <года> // Московский журнал. 1791. Ч. IV. Октябрь. С. 91—101.

<sup>33</sup> В «Сочинениях Державина» (СПб., 1865, 1869—1871. Т. II, V—VI) Я. К. Грот в общей сложности опубликовал: 26 писем Н. А. Львова к Г. Р. Державину, 7 писем Г. Р. Державина к Н. А. Львову, 2 письма Н. А. Львова к Е. Я. Державиной, 1 письмо М. А. Львовой к Г. Р. и Е. Я. Державиным, 1 письмо М. А. Львовой к Г. Р. Державину. Отметим также обзор писем Львова и его жены к Державину в Тамбов за 1786—1788 гг., хранящихся в Российской национальной библиотеке в Петербурге (с воспроизведением ряда писем), без указания на то, что они уже были опубликованы Я. К. Гротом в «Сочинениях Державина»: *Никитина А. Б.* Из писем Н. А. Львова к Г. Р. Державину в Тамбов // *Воронцовы — два века в истории России / Труды Воронцовского общества. Петушки, 1999. Вып. 4. С. 70—83.*

<sup>34</sup> *Лазарчук Р. М.* 1) Из истории дружеского письма конца XVIII в. (Н. А. Львов) // XXII Герценовские чтения. Филологические науки. Л., 1969. С. 93—95; 2) Послание Н. А. Львова и его роль в литературной борьбе 1790-х—начала 1800-х гг. // Филологический сборник / Уч. зап. ЛГПИ. 1970. Т. 460. С. 29—45; 3) Дружеское письмо второй половины XVIII века как явление литературы. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1972. С. 16—17.

<sup>35</sup> Помимо отмеченных хронологических несообразностей есть и чисто биографические аргументы. Если отстаивать точку зрения, что главным объектом полемических выпадов Львова в письмах и посланиях были Карамзин и близкие к нему писатели-сентименталисты, то нельзя, например, объяснить ни причину написания самим Львовым сентиментальных стихов в 1790-е гг., ни его участия в карамзинских изданиях.

здесь как раз и пишет. Конец совместному предприятию, обернувшись немалыми убытками, положило событие осенью 1799 г., увековеченное Львовым в стихотворении «На угольный пожар», когда сгорела значительная партия угля на его даче близ Александро-Невской лавры. Но когда это предприятие только зарождалось, оба поэта были настроены весьма оптимистично.

Письмо от 13 августа 1786 г. содержит ряд достоверных сведений, важных для истории деловых отношений между Державиным и Львовым, но для сообщения этой информации избрана избыточная и затемняющая смысл сообщения форма, предполагающая дешифрацию намеков, которую, конечно, лучше всего могли произвести те, кто принадлежал к родственному львовско-державинскому кругу.

Нерегулярность почтового сообщения с Тамбовом, где в то время Державин служил губернатором, нередко становилась причиной необоснованных упреков со стороны «русского мурзы». Львов избирает иронию как форму защиты — пародируя в первых строках эпистолярный этикет, он выражает признательность именно за нападки по адресу собственной персоны:

«Милостивый государь мой Гаврила Романович. Бранное письмо ваше через г. Носова на Бронницах получил и за ругательство ваше покорно благодарствую.

За то, за что вы меня ругаете, могу я теперь сказать вашему превосходительству: „Сам съешь“, потому что требуемые вами теперь мои ответы кучею уже, чаятельно, к вам приехали».<sup>36</sup>

Сообщая далее, что он прибыл в Москву для окончания деятельности с некоей «Абалдуехой», Львов с гордостью извещает о найденных до этого месторождениях, впадая в былинный гиперболизм:

«...а в Валдай послан я по именному повелению искать угля и нашел; твоему тучному украинскому смыслу, я чаю, и в голову мотыгою не вобьешь, сколько это важно для России; мы только, великие угольники, сие смекнуть можем. А сколько я сего угля нашел, скажу только то, что если ваш тамбовский архитектор возьмется сделать над светом каменный свод, то я берусь протопить вселенную» (ИС, 327).

---

<sup>36</sup> *Львов Н. А. Избранные сочинения / Предисл. Д. С. Лихачева; Вступ. статья, сост., подгот. текста, коммент. К. Ю. Лаппо-Данилевского. Перечень архитектурных работ Н. А. Львова подготовлен А. В. Татариновым. Кёльн; Веймар; Вена, 1994. С. 327 (в книгу вошло восемь писем Н. А. Львова к Г. Р. Державину, опубликованных ранее Гротом). Данное издание цитируется далее в тексте статьи в круглых скобках с указанием страницы после аббревиатуры ИС. В случаях, когда в текст писем, опубликованных впервые Я. К. Гротом, внесены уточнения, приводятся также архивные шифры рукописей.*



В следующем абзаце Львов сменяет патетический тон на простонародно-балагурский и вводит в свой текст мини-новеллу о своем дядюшке со стороны матери, Василии Ивановиче Хрипунове, доставляющем племяннику массу забот, ибо тот проматывал родовые имена и из-за какого-то «убивственного дела» должен был быть выкуплен и тем был избавлен «от затюремного заключения». Вмешательство графов Воронцовых и возможная словесная схватка Хрипунова с Державиным, названным уже впрямую богатырем, описываются в духе пародии на фольклорный гиперболизм, предполагающий магическую силу высказываемых слов:

«Граф А<лександр> Романович через Романа Лар<ионовича> старался его ввести в резон, чтобы он по крайней мере новгородские деревни, сто душ, мне уступил, где я с ним во всем половинщик, и он дал слово, от которого Роман Ларионович и умер. Попробуйся-тко ты, авось, либо он тебя не так скоро свалит; да смотри, брат, ведь, богатырь, ты обиняком иногда так резнешь, что и дух вон; а ведь он мне каков ни есть, да дядя» (ИС, 327).

Следующий за этими строками пятый абзац письма совершенно выпадает из общего изложения; он, кажется, призван лишь дать выход экспрессии, обуревающей повествователя, как видно по его синтаксической неупорядоченности:

«Рад я, как курва, так сказать... что вам весело и мне любо, любо так за честь!» (ИС, 327; РНБ. Ф. 247. Т. 13. Л. 110 об.–111).

Заключительные три абзаца посвящены празднику, который незадолго до того состоялся в Тамбове и о котором Львову Державин и его супруга сообщали в предыдущих письмах. Крайне витиеватый поток речи, прерываемый эмфатическими восклицаниями и изобилующий эллиптическими конструкциями, должен, кажется, донести до адресатов следующее: Львов беспокоится о долгах, которые приходится делать его друзьям в связи с праздником, он спрашивает, должны ли были гости покупать билеты (это, видимо, могло до известной степени снизить затраты на его устройство), он хочет узнать, участвовали ли в спектакле девушки или только юноши, изображавшие гениев. Впрочем, все это выражено с такой словесной избыточностью, столь стилистически неоднородными средствами и столь эмоционально, что от читателя требуется особое интеллектуальное усилие, чтобы понять это. Затемнению смысла на синтаксическом уровне способствуют эллиптические конструкции и инверсии, на лексическом — обильная субституция, употребление слов, стилистически и даже семантически диссонирующих, противоречащих контексту. Так, например, говоря о гостях, Львов называет их «богами», впадая при этом в некоторое псевдопростонародное

самоуничтожение: «Скажи, матушка К<атерина> Я<ковлевна>, по билетам что ли? или так просто, или как иным образом зовете, ваше превосходительство, богов-то к себе в гости? и нам бы они были надобны — может, бы иной блажной богатый долг запла-тил» (ИС, 327).

Лишь в последней фразе Львов сбрасывает маску слово-обильного балагура и с предельной ясностью сообщает близким ему людям о том, как тяжела для него разлука с любимой женой, и тут же завершает кольцевую композицию письма пародией на заключительные формулы эпистолярного церемониала — вместо того чтобы пожелать Державину покоя, отдыха, он желает, чтобы у того «работы не переводились», а о себе с напускной серьезностью утверждает, что «трудится ежедневно и еженощно».

В сходном стиле написано следующее письмо Львова к Державину из Боровичей 18 сентября 1786 г. Оно начинается с вполне нейтрального сообщения о более качественном угле, найденном им, который «на всякую уже потребность годен». Затем поэт подхватывает еще одну тему предшествовавшего письма — задержек корреспонденции с Тамбовом и так, крайне мудро, пытается донести до своего друга мысль о неспешности почты в провинции:

«Сделалось у меня одно только помешательство, а именно, что Дарья Алексеевна пишет ко мне, что блаженный тамбовский губернатор, заехав в захолустье, где никакая почта вовремя не приходит, не получая от меня множества отправленных писем, говорит, что он очень сердит и более писать не хочет. Плюнь ты ему, братец Г<аврила> Р<оманович>, в бороду и скажи ему, что мелет дребедень:

Как ему не лень?  
Ведь он не пень  
Иль не тюлень,

что в один день требует, чтобы доходили письма: пусть-ка он, рожа проклятая, справится, скоро ли тамбовские архитекторы курьером ездят, и посмотрит на мое письмо» (ИС, 329).

Примененная антономасия («блаженный тамбовский губернатор», то есть сам Державин) позволяет «расщепить» адресата письма на две личности и столкнуть их между собой: Державин ставится перед необходимостью самому урезонить себя, «плюнуть себе в бороду». Этот пассаж подвергается усложнению не только на семантическом, но и на фонетическом уровне — в него введено рифмованное трехстишие, в основу которого положен пеон четвертый. При этом первый, «вводный», стих обогащен в начале дополнительным слогом, ударность которого

подчеркивает содержащийся здесь вопрос («Как ему не лень?»).<sup>37</sup> Игровой характер этой части текста особенно ощутим, ибо второй и третий стихи «перетекают» в прозу, будучи зачином пространной фразы. Стихотворный характер вставки подчеркнут и графемно — рифмованные стихи вытянуты в столбик.

В конце письма, поведав о слышимых из Петербурга новостях, Львов дает волю своей страсти к метонимической прономинации — Е. Я. Державину он именуется «чернобровой и несравненной губернаторшей», «художницей преизящной», Державина — уже Ганюшкой (его рекомендует, впрочем, «вымарать сажею»), а самого себя — угольщиком.

Героем следующих трех писем осени 1786 г. становится мифический «однодворец» — так именуется Львов известную речь Державина, произнесенную однодворцем П. М. Захарьиным 22 сентября 1786 г. при открытии Главного народного училища в Тамбове. Она привлекла всеобщее внимание и была опубликована в «Санкт-Петербургских ведомостях», «Зеркале света», «Новых ежемесячных сочинениях» и дважды — отдельными изданиями (в 1788 г. и вскоре после 1792 г.). Подлинное авторство некоторое время скрывалось ввиду сложности отношений Державина с двором, в силу чего и в задачу Львова входило, как можно дольше сохранив секрет, представить это сочинение как результат благотворного воздействия просветительской политики Екатерины II на представителей простого народа. Поэтому на протяжении нескольких писем он повествует о похождениях «однодворца», «сильным своим красноречием» прервавшего в столице «силу магнита и толки чудес». Думается, здесь мы имеем редкий случай удвоенной семантической субституции — и по смежности, и по сходству, то есть синтез двух основных тропов. И действительно, наименование сочинения по тому, кто его произнес (или был его автором) — прием метонимический. В то же время прозопопея, также имеющая здесь место, — прием в основе своей метафорический (сочинению придаются черты живого существа; ему, в частности, наращивают бороду, потом эту бороду бреют и проч.).

Письмо Державину из Киева от 23 марта 1787 г. примечательно еще большей экспансией стихотворной стихии в жанр письма. Львов прибыл в административную столицу Малороссии в свите Екатерины II, здесь состоялась его встреча с Капнистом, о рождении сына которого он сообщает Державину. Однако внезапно

---

<sup>37</sup> Н. Л. Степанов считал одной из основных черт дружеского письма начала XIX в. чередование стихов и прозы: *Степанов Н. Л. Поэты и прозаики. С. 77.*

поэт отказывается от прозы («Да от тебя, брат, как не под рифму, так не добьешься и ответу») и включает в письмо 19 ямбических строк,<sup>38</sup> предвосхищающих тематику его более поздних посланий к Державину и А. М. Бакунину — о самодостаточности семейного счастья и о соблазнах Фортуны:

И для того хотя представь ты силуэт,  
Что с подлинника здесь великого я снял,  
Бесценной барыне, досужей чернобровке,  
*Скупой своей жене!* а госпоже мотовке,  
Которую я чтить вовек не перестал,  
Скажи, что чтущего она меня забыла  
И с полгода уже пера не омочила,  
Чтобы хоть знак подать, что помнит обо мне,  
Живущем на чужой, на дальней стороне  
Без счастья, без жены, в толпе, но наедине,  
По должности скопец; но, как и черт, в пустыне  
С собою заключа мирскую суету,  
Сквозь дырку шукает Фортуны наготу,  
Летающей под облаками,  
Так точно и со мной (да будет между нами):  
Я жизнь покойную, цыганскую веду,  
Воспоминанием друзей моих питаюсь,  
Увидеть скоро их надеждой утешаюсь  
И ходом раковым ко счастью иду.

(ИС, 332—333).

Эти стихи поэт далее метафорически именуется «скороспелками весеннего киевского воздуха» (ИС, 333), явно стремясь «преодолеть» невеселые нотки заключительных строк. Однако имеются серьезные основания для того, чтобы усомниться в неподготовленности экспромта — в «Путевой тетради № 1» находится четверостишие, показывающее, что здесь Львов использовал свой старый поэтический набросок.<sup>39</sup> И хотя сомнению не подлежит, что поэт в письмах нередко импровизировал, данный случай делает наглядным, что дружеский эпистолярный понимался им как некоторая художественная задача, при решении которой, с одной стороны, в ход шли разного рода лирические заготовки;

---

<sup>38</sup> Подавляющее число этих стихов — шестистопные ямбы, тем ощутимее перебой в 14 строке: и метрический, и ритмический («Летающей под облаками»); из четырех ямбических иктов здесь ударны только два.

<sup>39</sup> В рукописи текст датирован февралем 1779 г.: «Скучную ровно жизнь те<перь>, мои д<рузья>, веду / И ходом раковым ко счастью иду / Несчастием моим лишь только занимаюсь, / А мысля о тебе, лишь только утешаюсь» (Львов Н. А. Путевая тетрадь № 1 // ИРЛИ. 16470. Л. 40 об.).

с другой — здесь же начинается разработка тем, актуальных позднее для чисто лирических жанров.

Завершается письмо от 23 марта 1787 г., как кажется, и впрямь экспромтом, написанным бойким трехиктовым двусложником с чередующимися нулевой и односложной анакрузами. Судя по помете, предшествующей ему, экспромт рекомендовалось петь на мелодию песни, которая под № 25 вошла в «Собрание народных русских песен с их голосами», изданное в 1790 г. Львовым и Прачем.<sup>40</sup>

(На голос: Ивушка, ивушка зеленая моя...)  
Вот тебе, Гаври́ла,  
Са́муило́ва ре́чь:  
Дне́вное свети́ло  
Письмо́ велит пресе́чь.<sup>41</sup>

(ИС, 333).

Выше было обращено внимание на несколько наиболее ярких образцов львовского эпистолярия 1780-х гг., подпадающих под понятие дружеского литературного письма, как оно было сформулировано в 1920-х гг. Хотелось бы остановиться еще на двух текстах, за которыми сам поэт признавал художественное значение (они включены в рукописный том, объединивший литературные произведения поэта; ныне хранится в составе Державинского архива в Российской национальной библиотеке).<sup>42</sup> Это письма к Державину от 24 мая 1799 г. и к П. В. Лопухину от 18 июля 1801 г., их большую часть составляют стихи. Эта тенденция к изгнанию прозаического текста указывает на жанр, наиболее близкородственный, а именно на поэтические послания, грань между которыми и дружескими литературными письмами порой весьма зыбка.

Письмо к Державину от 24 мая 1799 г. — полемическое выступление против использования арсенала скандинавской мифологии в державинской «Оде на победы французов в Италии фельдмаршалом графом Суворовым-Рымникским в 1799 году» (СПб., 1799). Первый стихотворный отрывок введен признанием о том, что в этой оде Львову понравилась державинская «мистика»:

---

<sup>40</sup> Этот аспект, а именно: «взрывание» границ чисто вербального кода за счет подключения музыкального медиума — оригинальная черта полиморфности эпистолярия Львова, нашедшая выражение и в его письме к П. Л. Вельямину от 17 августа 1791 г. (об этом см. ниже).

<sup>41</sup> Здесь (а в ряде случаев и далее) грависы используются для обозначения иктов для облегчения соотнесения стихов с их метрической схемой.

<sup>42</sup> РНБ. Ф. 247. Т. 37. Л. 28 об.—29, 80—80 об.

И девѣтый вѣл в морскѣх волнѣх  
И вѣждь воспѣтанный во льдѣх,  
Затѣм, что нѣше дѣвно чѣдо,  
Как вѣйдет ѣз-под спѣда,  
Ушѣтами и шѣйкой льѣт  
На свѣой огѣнь в Крещѣнье льѣд.

(ИС, 353).

Если в первых двух строках почти дословно цитируется «Ода на победы французов в Италии», а именно приветствие Рюрика из Валгаллы, обращенное к наследнику его военной славы — А. В. Суворову,<sup>43</sup> то смысл дальнейшего шестистишия способен поставить читателя в тупик. Лишь соотнесение с уже цитированными письмами и, шире, с теми поздними произведениями Львова, которые отличает патриотический гиперболизм, позволяет понять, что же имелось в виду в заключительных стихах: «под дивным чудом» — русская мощь, тяжелая на подъем, но которая, если уж она войдет в раж, должна остужать себя ледяной водой в крещенские морозы. В последних стихах находим одновременно и катахрезу (лить лед ушатами и шайками, строго говоря, невозможно в силу его кристаллической, нежидкой структуры), и метафору (лед выступает как субститут мороза или крайне холодной воды, а ушаты и шайки — для больших объемов). Если державинский претекст написан четырехстопным ямбом с большим количеством полноударных строк и с заметной тенденцией к спондеизации первой стопы («Вѣждь бѣрь», «Мѣч Пѣвлов», «Кнѣзь слѣвы»), то метрический рисунок львовского шестистишия куда более прихотлив. Пять из шести стихов — четырехстопные ямбы, первый и последний без пиррихий; в четвертом стихе — перебой, он усечен до ямба трехстопного. Первый стих открывает весьма заметная ритмическая вольность — двусложная анакруза вместо ожидаемой односложной. Строфику державинской «Оды на победы французов в Италии», написанной восьмиштишиями с перекрестной рифмовкой, Львов проигнорировал, избрав парные двустишия.

Перекидывая прозаический мостик ко второму шестистишию, Львов формулирует основной полемический пункт — неприятие им скандинавской мифологии («не вижу я никакой причины к воскресению замерзших и нелепых богов Северного океана»).

---

<sup>43</sup> Ср.: «„Се мой“, гласит он, „воевода, / Воспитанный в огнях, во льдах, / Вождь бурь полночного народа, / Девятый вал в морских волнах, / Звезда, прешедша мира тропы, — / Которой след огня черты, — / Меч Павлов, щит царей Европы, / Князь славы!“ — Се, Суворов, ты!» (Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. СПб., 1865. Т. II. С. 274).

Надо сказать, что способ их компрометации, избранный Львовым, отнюдь не бесспорный и не самый удачный, и если бы она была предпринята «не в рифму» и не в дружеском письме, то вряд ли могла претендовать на какую-либо убедительность и дружественный прием. Сам говоря чуть выше именно о «норвежском богословии», Львов затем презрительно отзывается о «чухонском звуке имян», а в следующем стихотворном отрывке говорит о «шайке маймистов»,<sup>44</sup> которых задумал воскресить «парнасский еретик» и которыми смущены греко-римские боги. «Хрипучие и жалкие песни» этой шайки уподобляются «волчьему вою», и возникающая паронимазия со словами «валка» (валькирия) и «Валкал» (Валгалла) должна еще раз указать на варварское неблагозвучие имен. Справедливости ради следует все же сказать, что обращение Державина в его стихотворении именно к скандинавской мифологии художественно в высшей степени оправдано, хотя бы потому, что в нем фигурирует скандинав Рюрик и, следовательно, вполне закономерно речь идет о его богах.

Последний, четвертый, стихотворный пассаж львовского письма от 24 мая 1799 г. выдает, так сказать, «положительную программу», в которой, как выясняется, автор отнюдь не против вытеснения античных богов из русской литературы, он лишь желает, чтобы это было произведено славянскими божествами — «Эрот бы место Лелю дал иль Ладе строгая Юнона». Избранная Львовым манера изложения должна привести и приводит к созданию двойственного впечатления — с одной стороны, со всей несомненностью выражена симпатия к «исконному, коренному» баснословию, с другой — вся «художественная» часть письма пронизана иронией, и это лишает сказанное полемической однозначности. Сходную функцию выполняют и два последних прозаических, подчеркнута фактуальных абзаца письма: Львов пишет о глазных болях, вызванных работой в школе глинобитного строения, и о книготорговых делах.

Письмо к Петру Васильевичу Лопухину (1753–1827), крупному сановнику и своему давнему знакомому, от 18 июля 1801 г. Львов начал с подтверждения контакта между двумя друзьями, отличающегося особенной степенью искренности, и с метафорического указания на свою недавнюю тяжелую болезнь. Без всякого предупреждения о смене фактуального регистра на фикциональный, без всякого означения грани между ними он развертывает перед взором читателя воображаемую картину праздника, народного веселья:

---

<sup>44</sup> Петербургское прозвище коренных жителей Ингерманландии финно-угорского происхождения (от финск. «от эй мойста» — не понимаю).

«К вам, милостивый государь мой Петр Васильевич! и с добрым, и с худым; едва я сюда приехал с того света на костылях, тотчас мне плясать захотелось, дай ноги. Камердинер говорит: „Забыл, сударь, в Москве...“ Ну, так пусть другие пляшут, я стану петь... Запел, и никто не удивляется, что во все горло... Перекричишь ли шлюпки, шайки певцов, хоры на воде и на сухом пути. Что за пропасть?» (ИС, 358).

Следующие затем стихи переключают повествование в фикциональный план; скупая информация о пении на воде и на суше развернута в масштабную поэтическую картину:

Или свѣт переменился,  
Или я переродился?  
Или здѣсь я с головой,  
А там был все безголовый;  
Жил и не жил целый год,  
Не летал, не пресмыкался;  
Здесь я точно так попался,  
Как на ярмонку урод:  
Между пляшущих, прекрасных,  
Дней цветных, весенних, ясных  
В исступленный хоровод!  
Да в Москвѣ-то что же будет?  
Там-то голос вознесется  
Русской песни высоко!  
Там-то уж рекой прольется  
Медовое молоко!  
Грянут лодки стовесельны  
Наших удалых ребят,  
Берега у них кисельны,  
Да и ложки в них торчат!  
Все, чего душа желает,  
Подымается горой:  
Рот всепело разевает,  
Да сказать не успевает:  
«Ешь, ребята, пей... да пой!»

(ИС, 358).

Ритмика приведенного пассажа, написанного четырехстопным хореем, весьма изящна, ибо на весь отрывок из 25 стихов приходится 16 ярко выраженных пеонов третьих (из них шесть — акаталектические), а полноударных хореев всего два (тем явственнее и контрастнее они звучат). Вольная рифмовка (лишь один стих оставлен холостым) должна была, видимо, способствовать впечатлению о спонтанности написания этих стихов; отметим и довольно редкий случай для русской поэзии



XVIII в. — неточную разноударную рифму «с головой / безголовый», составляющую одновременно «*figuram etymologicam*». Тем же четырехстопным хореем с обилием пеонических строк и вольной рифмовкой написаны еще два стихотворных отрывка в этом письме (9 и 5 стихов).<sup>45</sup>

Лишь из заключительной прозаической части письма выясняется, что П. В. Лопухин обратился к Львову с предложением организовать в Москве празднество и что набросанная имажинативная картина всеобщего ликования была «опрокинута в будущее», преследуя цель выразить согласие поэта и дополнительно убедить заказчика в правильности выбора кандидата: «Извольте, я берусь за это дело, купцы, говорят, свое дело сделали, пусть дворяне согласятся не отстать от них, я первый кладу два рубля семьдесят пять копеек, которые остались мне от бескорыстности никольского аптекаря, учрежу, напишу и устрою такой праздник, от которого всем будет нескучно, кому весело» (ИС, 358). Это письмо как посредник во вполне деловой коммуникации, с одной стороны, «взорвано» включенной в него фикциональной картиной, в эстетической состоятельности и ценности которой трудно усомниться, с другой — именно ее художественность по замыслу адресанта должна послужить исполнению вполне прагматического назначения этого текста.

Думается, рассмотренные образцы львовского эпистолярия вполне подпадают под то понятие дружеского литературного письма, которое было выработано при анализе явлений более поздних, а именно — первой трети XIX в., и позволяют отодвинуть начало истории этого жанра на несколько десятилетий в прошлое, а именно в 80-е гг. XVIII столетия. Следует также пожалеть о том, что до нас не дошли письма Львова к рано скончавшемуся Хемницеру — возможно, благодаря им эту границу можно было бы сместить еще далее. Отметим также, что из сохранившихся писем к Капнисту (подавляющая часть из них — это деловые и семейно-бытовые) лишь одно содержит стихотворную вставку от 28 ноября 1794 г. и может быть причислено к рассматриваемому литературному жанру:

«Посылаю к тебе, мой друг, целый груз стихов — посредственных, дурноватых и дурных, между прочим, по старшинству следует „Песнь Екатерине II“, которую намахал наш искренний приятель. И я накануне ему предсказал, что ему вымоют голову — и вымыли. Не пиши дурных стихов, а слушайся приятелей;

---

<sup>45</sup> Отметим игру с анакрузой в начальных стихах второго отрывка, написанного двусложником: «Москóвский нáш нарóд / Нé забýл старíнну пёсню...».

а как я его, впрочем, накануне ни просил многое выкинуть, кое-что поправить.

Но можно ль удержать советом бурю  
Такого автора, который за столом  
В беседе и с пером  
Все любит тьюрю.<sup>46</sup>

Я сам не пишу к тебе для того, что у меня глаза болят» (ИС, 347).

Характерно, что в тот момент, когда речь здесь заходит о Державине, Львов избирает манеру, которая утвердилась в его письмах именно к нему. Этот стиль со всей очевидностью был спровоцирован непростой личностью певца Фелицы и позволял Львову обходить острые углы, сделав акцент на манифестации дружеских чувств. Как известно, Львову не раз приходилось выступать и в качестве посредника, сглаживавшего конфликты между его друзьями (одним из наиболее острых было столкновение 1789 г. в связи критикой Капнистом оды Державина «Изображение Фелицы»).<sup>47</sup> Стоит упомянуть и о том, что Львов порой сильно расходился с Державиным в литературных оценках, Капнист-критик и литератор был ему намного ближе. Видимо, поэтому разговор о литературе с Капнистом, если заводился, то велся намного задушевнее и более по существу — так, к критическому эссе тяготеют письма к Капнисту от 23 декабря 1789 г. и от 28 сентября 1795 г. (ИС, 337—338, 348—349), посвященные исключительно литературным вопросам, что побудило автора сделать к первому из них приписку «Voilà une lettre bien littéraire» («вот воистину литературное письмо»).<sup>48</sup> Письма Капниста, которые можно зачислить в разряд «дружеских литературных», относятся уже к более позднему времени. В них находим стихотворные вставки, мозаичность композиции и проч. — это письма к А. Н. Оленину от 15 декабря 1809 г., А. Л. Нарышкину от 15 декабря 1809 г., А. М. Бакунину от 10 декабря 1810 г.<sup>49</sup>

При просмотре пятого и шестого томов «Сочинений Державина», изданных Гротом, бросается в глаза, что в письмах к сво-

---

<sup>46</sup> Отмечу попутно редкий метрический рисунок этой стихотворной вставки с охватной рифмой, написанной вольным ямбом (Я5ж+Я5м+Я3м+Я2ж).

<sup>47</sup> Об этом подробнее: *Лапто-Данилевский К. Ю.* К истории дружеской полемики вокруг оды Державина «Изображение Фелицы» (1789) // XVIII век. СПб., 2011. Сб. 26. С. 203—220.

<sup>48</sup> Характерно, что Львов называет здесь свое письмо литературным в смысле его посвященности литературным темам.

<sup>49</sup> *Капнист В. В.* Собрание сочинений / Ред., вступ. статья, примеч. Д. С. Бабкина. М.: Л., 1960. Т. 2. С. 456—458, 464.

им ближайшим друзьям поэт ни разу не перенимает львовской манеры. Наиболее приближенным к поэтике дружеского письма оказывается ряд державинских писем к И. И. Дмитриеву 1790—1800-х гг., именно здесь появляются стихотворные вставки.<sup>50</sup> Все же дистанция между Державиным и его более молодым другом остается весьма ощутимой — достаточно упомянуть, что, несмотря на искреннюю взаимную симпатию, корреспонденты неизменно обращаются к друг другу на «вы». Тематика этих писем подсказывает, почему Державину потребовалось «фикционально разрядить» пространство своих писем — речь в них шла о темах сугубо литературных, и Державин всячески стремился смягчить свои критические замечания по адресу Карамзина (что-то подобное наблюдалось и в случае, когда Львову приходилось обходить острые углы в коммуникации с «оригиналом татарским»). В связи с рассматриваемой темой заслуживает внимания и следующий эпизод: в ноябре 1794 г. Державин обратился к А. В. Суворову с признанием, что желает воспеть полководца и процитировал начальный вариант четырех стихов, вошедших затем в «Оду на взятие Варшавы». <sup>51</sup> Суворов ответил 21 декабря того же года письмом, вполне «литературно-дружеским», в которое включил два ямбических отрывка, насчитывающих в общей сложности 26 стихов. Не без самоуничтожения Суворов предварил первый из них, более пространный и явно пародирующий стиль торжественных од, следующими словами: «...не буду вам отвечать так, как громкий лирик; но в простоте солдатского сердца моего излию чувства души своей» (VI, 22).<sup>52</sup>

В заключение статьи хотелось бы остановиться еще на двух львовских письмах. Первое из них, обращенное к П. Л. Вельяминову, от 17 августа 1791 г., как уже упоминалось выше, вскоре после его сочинения было напечатано в «Московском журнале»,<sup>53</sup> став фактом литературной жизни своего времени. Налицо, таким

---

<sup>50</sup> См. письма к Дмитриеву от 5 августа и 6 октября 1796 г., от 5 июня 1804 г. и 8 марта 1806 г. (Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. СПб., 1871. Т. VI. С. 54—56, 153—154, 176).

<sup>51</sup> Там же. С. 20. Первоначально ода была опубликована под названием «Песнь ея императорскому величеству Екатерине II на победы графа Суворова-Рымниковского» (СПб., 1794; ср.: Т. I. С. 636—653).

<sup>52</sup> Нужно отметить, что в сборнике, объединяющем эпистолярный 18 литераторов XVIII в., находим стихотворные вставки разве как цитаты, а не как органичную составляющую писем, играющую важную композиционную роль в них как в художественном единстве. Ср.: Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980.

<sup>53</sup> [Львов Н. А.]. Письмо от Н. А. Л<ьвова> к П. Л. В<ельяминову> // Московский журнал. 1791. Ч. IV. Октябрь. С. 91—101. Под заглавием в круглых скобках приведена следующая информация: «Прислано из Петербурга от

образом, и акт признания высоких художественных достоинств этого сочинения со стороны столь важной фигуры, как Карамзин, и тот редкий случай, когда дружеское письмо покидает домашний круг, для которого предназначалось, и радикально расширяет свою аудиторию. Естественны поэтому следующие вопросы, на которые сложно ответить с полной определенностью: рассматривал ли Львов изначально возможность напечатания этого письма или же, как это нередко бывало, лишь адресовал его достаточно широкому кругу родственников и друзей? Во всяком случае несомненно, что Львов в первую очередь стремился запечатлеть в памяти близких ему людей столь значительное событие, как освящение церкви по его проекту в селе Арпачеве Новоторжского уезда Тверской губернии, принадлежавшем дяде поэта Петру Петровичу Львову и находящемся рядом с Никольским-Черенчицами — любимым имением самого поэта. Лишь те, кто мог раскрыть инициалы адресата, кто представлял себе песенные и другие традиции клана Львовых, знал о градостроительных занятиях адресанта и проч., мог в полной мере усвоить собственно информационную, но отнюдь не определяющую его специфику, часть письма. Думается, и Карамзин, и большинство читателей «Московского журнала» с интересом прочли его главным образом как оригинальную эстетизированную манифестацию русских семейно-родовых традиций, проникнутых христианским духом.

Композиция письма отличается соразмерностью и продуманностью распределения повествовательного материала: в первом вводном абзаце Львов напоминает о своем споре с Вельяминовым по поводу иконостаса для Арпачевской церкви и отстаивает свой замысел; во втором продолжает уже начатое описание всенощной 16 августа и освящение церкви; в третьем речь идет о первой обедне на следующий день; затем описываются послеобеденное празднество львовского клана с песнями и плясками (о них обронено с просторечной самоиронией: «ломанье престрашное»); печальную ноту в разгульное веселье привносит предложение П. П. Львова спеть песню, сочиненную в народном духе его отцом по пути из Персидского похода, песню, которую «не удалось ему пропеть дома». Ее текст составляет пространную, столь типичную для дружеских писем, хотя и на первый взгляд обособленную, стихотворную вставку, которая заслуживает того, чтобы остановиться на ней подробно. Но сначала приведу ее текст:

---

неизвестной особы». Ниже указана дата и место написания: «Село Арпачево, 17 августа 1791 <года>».

## Песня П<етра> С<еменовича> Л<ьвова>

Уж как пал туман на сине море,  
А злодей-тоска в ретиво сердце;  
Не сходить туману с синя моря,  
Уж не выйти кручине из сердца вон.  
Не звезда блестит далече во чистом поле,  
Курится огонечик малешенок;  
У огонечка разостлан шелковой ковер,  
На коврике лежит удал доброй молодец,  
Прижимает белым платом рану смертную,  
Унимает молодецкую кровь горячую.  
Подле молодца стоит тут его бодрой конь,  
И он бьет своим копытом в мать сыру землю,  
Будто слово хочет вымолвить хозяину:  
Ты вставай, вставай, удалой доброй молодец!  
Ты садися на меня, на своего слугу;  
Отвезу я добра молодца в свою сторону,  
К отцу, к матери родимой, к роду-племени,  
К малым детушкам, к молодой жене.  
Как воздохнет тут удалой доброй молодец;  
Подымалась у удалого его крепка грудь;  
Опустились у молодца белы руки,  
Растворилась его рана смертоносная,  
Пролилась ручьем кипячим кровь горячая.  
Тут промолвил доброй молодец своему коню:  
Ох ты конь мой, конь, лошадь верная!  
Ты товарищ моей участи,  
Доброй пайщик службы царския!  
Ты скажи моей молодой вдове,  
Что женился я на другой жене;  
Что за ней я взял поле чистое,  
Нас сосватала сабля вострая,  
Положила спать калена стрела.

(ИС, 341—342).

Несмотря на четкую атрибуцию, предлагаемую в письме к Вельяминову, трудно освободиться от сомнений, что она написана П. С. Львовым. Кажется, впервые с критикой версии, содержащейся в письме к Вельяминову, выступила А. М. Новикова в книге «Русская поэзия XVIII—первой половины XIX века и народная песня» (1982). С одной стороны, она подчеркивала, что «стиль „львовского“ варианта не имел книжных черт и был чисто народным», с другой — что тема неоднократно разрабатывалась в фольклоре. Не подвергая сомнению участие П. С. Львова в Персидском походе Петра I 1722—1723 гг., исследовательница полагала, что речь должна вестись о народной, не авторской

песне, которая была услышана им от солдат и затем «передана» родным и близким.<sup>54</sup>

Генеалогические разыскания, проведенные сравнительно недавно, предоставляют в наше распоряжение ряд биографических данных о Петре Семеновиче Львове, хотя и весьма скудных, но позволяющих еще более критически отнестись к сообщаемому в письме к П. Л. Вельяминову. Во-первых, факт его смерти во время возвращения домой из Персидского похода никоим образом не подтверждается — Петр Семенович Львов скончался, по всей видимости, в 1736 г., в мирное время.<sup>55</sup> Из документов от 13 января 1733 г. по продаже им пустошей Новошино, Плутнево и Голицыно в Тверском уезде в Воловицком стане вдове тайного советника Ивана Ивановича фон Менгден Софье Васильевне и ее детям известно, что в это время он был в чине капитана.<sup>56</sup> Женат он был на Пелагее Ивановне Соймоновой; младший сын от этого брака родился, вероятно, около 1736 г.<sup>57</sup> Следовательно, единственное, что можно предположить, — это то, что Львов скончался от ран, полученных ранее, во время русско-турецкой войны 1735—1739 гг., и что, возможно, она имела в виду под «Персидским походом».<sup>58</sup> В любом случае, не отвеченным в пись-

---

<sup>54</sup> Новикова А. М. Русская поэзия XVIII—первой половины XIX века и народная песня: Учеб. пособие по спецкурсу для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Русский язык и литература». М., 1982. С. 59—61.

<sup>55</sup> Именно этот год указан в одном из наиболее авторитетных генеалогических справочников XIX столетия: Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. СПб., 1886. Т. I. С. 575. И. А. Бочкарева без достаточных на то оснований сомневается в правильности этой даты, полагая, что в цитируемой ею челобитной вдовы П. С. Львова содержится ошибка: «Мой муж, а детям моим отец родной Петр Семенович, сын Львов ... в прошлый год, „736“ году, в службе вашего императорского величества умре» (Львова А. П., Бочкарева И. А. Род Львовых. Торжок, 2004. С. 16; оригинал документа: ГАТО. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 2370. Л. 104).

<sup>56</sup> СПб ИИ РАН. Ф. 180. Оп. 1. Ед. хр. 10. л. 85. В этом же чине П. С. Львов и скончался, как следует из исповедной росписи церкви Николая Чудотворца села Арпачево Новоторжского уезда за 1748 г., в которой упомянута вдова капитана Пелагея Ивановна Львова в возрасте 55 лет (ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Ед. хр. 18026. Л. 232). Выражаю искреннюю признательность С. Д. Дзюбанову за сообщение этих архивных данных и обсуждение источниковедческих аспектов львовской генеалогии.

<sup>57</sup> Фигурирующая в литературе дата рождения Петра Петровича Львова (1741) документально не подтверждена и опровергается цитируемой выше челобитной его матери и упомянутой исповедной росписью 1748 г., где указан его возраст — 11 лет (ср.: Львова А. П., Бочкарева И. А. Род Львовых. С. 20).

<sup>58</sup> Отмечу, что именно «привязка» «Песни П<етра> С<еменовича> Л<ьвова>» к Персидскому походу Петра I стала основанием для ее датировки 1722 г. при воспроизведении в разделе «Песни, канты и стихи» в кн.: Западов В. А. Русская литература XVIII века, 1770—1775: Хрестоматия. М., 1979. С. 23—24.

ме остается и вопрос о том, кто сообщил родным песню, сочиненную П. С. Львовым, если бы он и впрямь умер вдали от них. Впрочем, само название «Песня П<етра> С<еменовича> Л<ьвова>» допускает и следующую интерпретацию — та, что сочинена от его лица, та, что могла быть пропета им в драматической ситуации, о которой затем узнали родственники. Противоречия, обнаруживающиеся в рассказе о сочинении песни, наводят на мысль, что, скорее всего, в данном случае мы имеем дело с литературной мистификацией внука П. С. Львова — Н. А. Львова, как раз в это время увлекавшегося народной поэзией и подражавшего ей.

Важное значение имеет и следующее обстоятельство — как отмечает Новикова, варианты песни «Уж как пал туман на сине море...» встречаются в рукописных песенниках XVIII столетия,<sup>59</sup> два из них находим напечатанными до появления львовского «Собрания народных русских песен с их голосами» в «Собрании разных песен» М. Д. Чулкова и в «Письмовнике» Н. Г. Курганова.<sup>60</sup> Лирические сюжеты всех этих вариантов мало различаются — то умирающий воин обращается к коню, то — к товарищам. Если же принять предположение о том, что автором «Песни П<етра> С<еменовича> Л<ьвова>» (конкретного варианта широко бытовавшей песни) был его внук, то отсылка к Персидскому походу должна была до известной степени легитимировать упоминание именно «моря» (в других редакциях — «поля») и «привязать» песню к конкретным историческим событиям. В таком случае становится ясно, почему «Песня П<етра> С<еменовича> Л<ьвова>» была для Н. А. Львова авторской, а не безымянной и почему он не включил ее в «Собрание народных русских песен с их голосами», вышедшее в предыдущем, 1790 г. Тем примечательнее, что даже близкими знакомыми этот текст воспринимался как несомненно фольклорный. Так, И. И. Дмитриев воспроизвел без всякого заглавия песню «Уж как пал туман на сине море...» в своем песеннике

---

<sup>59</sup> Исследовательница цитирует зачин песни, почерпнутой ею в одном из рукописных сборников первой половины XVIII в., содержащем и другие песни о петровских походах: «Ох, как пал, братцы, туман да на синё море, / Злодейка блаж-кручина в ретиво сердце, / Не бывать, братцы, туману со синя моря, / Не схаживать кручины с ретива сердца. / Ой, здалече, ой, здалече во чистом поле...» (Новикова А. М. Русская поэзия XVIII—первой половины XIX века и народная поэзия. С. 61).

<sup>60</sup> Эти варианты, имеющие идентичную начальную строку «Ах! как далече, далече в чистом поле...», различаются количественно — они содержат соответственно 36 и 23 стиха (Чулков М. Д. Новое и полное собрание российских песен. СПб., 1770. Ч. 1. С. 140; [Курганов Н. Г.]. Книга писмовник, а в ней наука российского языка с семью присовокуплениями. СПб., 1777. Ч. 2. Присовокупление V. С. 313).

явно по «Московскому журналу»;<sup>61</sup> как народную опубликовал ее и Державин в разделе «О песне» «Рассуждения о лирической поэзии, или Об оде».<sup>62</sup>

Но вернемся к «Письму к П. Л. В<ельяминову>». «Песня П<етра> С<еменовича> Л<ьвова>» погружает присутствующих в невеселое состояние духа. Это всеобщее настроение, вызванное нахлынувшими воспоминаниями о представителях львовского клана, павших в сражениях за родную землю, а также о тех из родственников, кто в это время как раз находился на Русско-турецкой войне, развеивается внезапной радостной вестью о ее завершении.<sup>63</sup> Строго говоря, окончательный мирный договор в Яссах был заключен через несколько месяцев — 31 июля (11 августа) 1791 г. были подписаны лишь его прелиминарные артикулы.

«Уголок» провинциальной действительности, изображенной в письме к Вельяминову, заставляет вспомнить «Ямщиков на подставе»; он также наделен чертами социальной утопии — в день освящения церкви и господа, и их крестьяне, которые под конец названы вполне патриархально «добрыми нашими поселянами», преисполнены завидного единодушия. Явно, что празднество и известие о прекращении войны останутся одинаково памятными и тем и другим. Стоит отметить, что повествование от первого лица единственного числа перемежается рассказом от первого лица множественного, в результате чего в тексте появляется некий коллективный герой, переживаниям которого посвящено письмо, — и это не только родные Львова, но, шире, все прихожане нового храма независимо от их сословной принадлежности.

Что касается собственно повествования, то оно носит ярко выраженный разговорный, сказовый характер и представляет

---

<sup>61</sup> Карманный песенник, или Собрание лучших светских и простонародных песен. М., 1796. Ч. III. С. 211—212 (раздел «Былевые»). От публикации в составе «Письма к П. Л. В<ельяминову>» этот текст отличается минимально; речь должна вестись, по-видимому, об искажениях, возникших при наборе, — так, «бодрый конь» становится «добрым», «белый плат» — просто «платком» и проч.; фольклорные окончания «ой» заменены всюду на «ый» («добрый молодец» вместо «добрый»).

<sup>62</sup> Чтение в Беседе любителей русского слова. 1815. Чт. 14. С. 21—22. После текста песни Державиным сделано допускающее различные толкования указание об авторстве: «сочин<ителя> неизвестного». Примечательно и то, что размышляя о народных песнях в этом разделе «Рассуждения», Державин опирается главным образом на подготовленное Львовым и Прачем «Собрание народных русских песен с их голосами» (1790).

<sup>63</sup> Эта дата названа самим Львовым («Я распечатал письмо мое, чтобы только сказать тебе, что сейчас получил твою одну строчку: „Мир заключен 31 июля“. Стоит она поэмы»; ИС, 342).



собой еще одну, нетривиальную реплику в длительном диалоге двух близких друзей. Уже первая фраза письма — «Чур не отпираться!» — выдает укорененность манеры письма в стихии устной дружеской речи. Общее впечатление это подкрепляется и многочисленными эмфатическими обращениями-деминутивами, и эллиптическими конструкциями, и постоянным смешением стилей — славянизмы органично соседствуют с просторечием при изображении радостного возбуждения, охватившего Львова и его близких. Не скупится поэт и на яркие эпитеты и метафоры — «пучеглазое позлащение», «купол, мною согнутый», «война оставила рану глубокую». Рассмотренные выше особенности письма к Вельяминову убеждают, что хотя Львов и стремился сообщить своему другу о ряде событий (и сделал это), но в куда большей степени он ставил перед собой чисто эстетические задачи, творя художественный миф о себе и своих близких.

В заключение хотелось бы остановиться еще на одном шедевре эпистолярной прозы Львова — его письме от 28 мая 1800 г. к графине Екатерине Александровне Головкиной (1733—1821). Несмотря на его высокие литературные достоинства, оно никак не может быть отнесено ни к собственно художественной литературе, ни к жанру дружеского письма, в то же время позволяя лучше увидеть специфику последнего.

Как можно понять из письма к Головкиной, его написанию предшествовало обращение к Львову сначала устно через некоего Скворцова, а затем в эпистолярной форме. Дело шло о крепостном Александре (фамилия его не упомянута), который был за несколько лет до того подарен графиней Львову и теперь довольно беззастенчиво потребован назад. При этом равнодушие к судьбе молодого музыканта сказалось хотя бы в том, что, когда он был «на время» послан в дом его бывшей владелицы, та даже не соблаговолила взглянуть на него. Нетрудно представить, что у нее Александра ждало бы постепенное угасание музыкальных дарований, безысходность крепостного состояния, занятия, не соответствующие той выучке, которую он получил по воле Львова и о которой графиня не имела четкого представления, как можно заключить из ответов на ее вопросы: «Во все время продолжал я его учить музыке у капельмейстера Сарти в намерении иметь для управления маленького хора, а когда с летами его и учение довершится, если благодарность его будет порукою вперед за доброе поведение его, то дать ему свободу на некоторых для него же полезных условиях: поелику безвременное увольнение послужило бы к пагубе его таланта и его собственно» (ИС, 355—356).

Львов оказался в крайне щепетильной ситуации. С одной стороны, величайшей несправедливостью по отношению к юно-

му музыканту было бы возвратить его Головкиной, с другой стороны, как светский человек он никоим образом не мог позволить себе намека на неблаговидность поведения своей знакомой. Львову несомненно ясны мотивы его корреспондентки, но он надевает маску простодушия и пытается увидеть в ее действиях «посторонние внушения и прихоти», поясняет неоплатность понесенных затрат на воспитание Александра:

«Наконец, угодно вам спрашивать: „Могу ли я иметь его у себя?“ — если это на время, так как я и понимал, то я приказание ваше тотчас исполнил и послал его к вашему сиятельству, как скоро за ним прислали, по возвращении сказал он мне, что он вас не мог видеть. Из чего вторично я подумал, что в этом деле мешаются более посторонние внушения и прихоти, нежели собственная ваша воля, основанная на чувствах благородных и справедливости. Сие самое убеждение мое не допустило меня подумать, чтобы желание ваше было взять у меня безвозвратно отданного мне мальчика, не приняв во уважение, что я воспитал его под собственным моим смотрением, что сей труд известен каждому, желающему воздержатъ от подлых понятий и поступок подлого человека, что на сие я потерял много времени и труда в надежде пользоваться плодами учения моего. И, наконец, по окончании учения сего лишиться сих надежд и самого воспитанника от той же самой руки, которая вручила мне молодость его под видом подарка. Я не забыл, милостивая государыня! что вам не угодно было принять от меня за него денег при совершении крепости. Что же касается до издержки, которую ныне предлагаете заплатить мне за учение его, то я смею донести вашему сиятельству, что этого мне никто заплатить не может, я скорее с сердечною благодарностию сам внесу за него деньги, нежели приму оные от кого ни есть, потому что за труд воспитания мне заплатить непристойно, за учеников посторонних Сарти брал в год по полторы и по две тысячи, о чем можете узнать от господина Хлебникова и прочих. Я ему денег не давал, но дарил его картинами, он учил его за платою дружбы, а я на учение сие терял свои к нему услуги, случай и время, которое для меня всех денег дороже» (ИС, 356).

Письмо к Головкиной, в сущности, пронизывает глубокая ирония — обращаясь к графине как к представительнице своего круга и носительнице близких понятий, Львов прекрасно понимает, сколь мало его корреспондентка соответствует образу, вписанному в текст. В то же время он так строит свою аргументацию, что реальная Головкина оказывается весьма затруднена в ее прихотях, ей неминуемо приходится соотносить свое поведение с образом, созданным Львовым, и тем самым

преодолевать весьма значительные моральные препятствия при осуществлении желания вернуть себе крепостного. Несмотря на столь мастерское построение, письмо к Головкиной почти во всех отношениях представляет собой противоположность дружеским литературным письмам, рассмотренным выше. Оно направлено в первую очередь на то, чтобы устранить сложность, возникшую в реальной жизни, донести до корреспондентки некоторую систему аргументов. Таким образом, референтивная функция доминирует в этом тексте; поэтическая являет себя прежде всего в риторической отточенности аргументации и в пронизывающей ее иронии; а все то, что как раз составляет специфику дружеских писем (многотемность, повышенная экспрессивность, стилистическая и синтаксическая «разболтанность» и проч.), сведено к минимуму. Их сопоставление с более традиционными эпистолярными формами убеждает и в том, что этот многоликий жанр утверждался прежде всего апофатически — через отвержение и расшатывание сложившегося этикета, насаждавшегося многочисленными письмовниками, через маргинализацию информационной составляющей, через вторжение в письма фикциональной, а- или даже антипрагматической стихии.

Завершить данную работу хотелось бы соображениями преимущественно историко-литературного характера — длительная неизданность наследия Львова, а также недооценка художественных достоинств его произведений в XIX в. (тут с сожалением нельзя не упомянуть имени Я. К. Грота), вызвавших живой интерес в XX в., помимо всего прочего, привели к тому, что его эпистолярное наследие долгое время «не замечалось» исследователями. Вместе с тем именно с Львовым связано появление в русской литературе столь важного жанра, как «дружеское литературное письмо», возникновение которого обычно оказывалось приуроченным к первой четверти XIX в. и которое в действительности начинает свою историю с 1780-х гг. Весьма характерно при этом, что этот гибридный жанр оказывается неотторжимым от истории содружеств, объединивших наиболее значительных литераторов своего времени, — львовско-державинского кружка в XVIII в. и «Арзамаса» в XIX в.

## СОДЕРЖАНИЕ

От редактора .....	3
<i>Н. Ю. Алексеева</i> (Петербург). Примечания Антиоха Кантемира к «Письмам Горация» .....	5
<i>Е. Э. Бабаева</i> (Москва). Язык в зеркале размышлений поэта. (К реконструкции лингвистических воззрений Антиоха Кантемира) .....	26
<i>А. Вачева</i> (София). София-Екатерина. Имя и мифология в автобиографии Екатерины II .....	49
<i>А. Ю. Веселова</i> (Петербург). Переписка А. Т. Болотова с Н. Е. Туглубьевым как исторический и литературный источник .....	69
<i>И. В. Кощиченко</i> (Петербург). Эпиграфы в учебных пособиях Николая Курганова .....	85
<i>Д. Р. Невская</i> (Рига). Русские писатели XVIII века об исторической и эстетической значимости мифа .....	105
<i>К. Ю. Лаппо-Данилевский</i> (Петербург). Дружеское литературное письмо: специфика, истоки .....	121
<i>Н. Д. Кочеткова</i> (Петербург). Семейные посвящения в русских изданиях XVIII века .....	154
<i>Й. Клейн</i> (Беркли). Истина и искренность в панегирической поэзии Державина .....	187
<i>А. А. Койтен, Е. Е. Земскова</i> (Бремен, Москва). Филантропист и «Фелица». (Историческое пояснение к неизвестному немецкому переводу державинской оды в учебной книге К. Г. Вольке, 1785) .....	220
<i>Н. С. Беляев</i> (Петербург). Русские литераторы XVIII века — конференц-секретари Императорской Академии художеств (А. М. Салтыков, Ф. Х. Фелькнер, А. Ф. Лабзин) .....	262
<i>Э. Хексельшнайдер</i> (Лейпциг). Новое о студенческих годах А. Н. Радищева и его друзей. Два неизвестных письма к Х. А. Клодиусу. Перевод А. А. Костина .....	277
<i>А. А. Костин</i> (Петербург). А. Н. Радищев как фольклорист .....	310
<i>С. А. Мезин</i> (Саратов). Дидро, Рейналь и Радищев: Из истории филиации идей .....	326

<i>А. Ю. Соловьев</i> (Петербург). История текста «Путешествия в полу-денную Россию» <i>В. В. Измайлова</i> . . . . .	343
<i>Е. Д. Кукушкина</i> (Петербург). Пьер Корнель в России . . . . .	362
<i>С. И. Николаев</i> (Петербург). Подражания Кантемиру в русской поэзии XVIII—XX веков . . . . .	387

#### ПУБЛИКАЦИИ

<i>С. И. Николаев</i> (Петербург). Русская идиллия 1750-х годов (Новые материалы) . . . . .	397
<i>И. Ю. Фоменко</i> (Москва). «Меланхолические домашние мои рассуждения» <i>Ф. И. Колоколова</i> . . . . .	416
<i>Г. А. Гуковский</i> . Расин в России в XVIII веке. <i>Перевод с французского языка и примечания А. О. Дёмина</i> . . . . .	434

#### ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НАД «СЛОВАРЕМ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XVIII ВЕКА»

<i>С. И. Николаев</i> (Петербург). Предположение о Петре Суворове . . . .	481
<i>А. А. Костин</i> (Петербург). Про Иванов Соколовых . . . . .	485
Список сокращений . . . . .	492
Указатель имен . . . . .	493